

Библиотека Классической Литературы

ДАНИИЛ ГРАНИН

Мой лейтенант
Зубр

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г75

Серия «Библиотека всемирной литературы»

Оформление *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ художника *Ганса Балушека*

Фотография автора: Рудольф Кучеров / РИА Новости

Серия «100 главных книг»

Оформление *Н. Ярусовой*

Гранин, Даниил Александрович.
Г75 Мой лейтенант ; Зубр / Даниил Гранин. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 672 с.

ISBN 978-5-699-64405-6 (Библиотека всемирной литературы)
ISBN 978-5-699-94451-4 (100 главных книг)

Даниил Александрович Гранин — выдающийся русский писатель, наш современник, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии «Большая книга» 2012 года за новый роман «Мой лейтенант». Автор знаменитых романов «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», экранизированного исторического романа «Вечера с Петром Великим», «Блокадной книги» в соавторстве с А.М. Адамовичем. В нашумевшем произведении «Зубр» автор запечатлел образ выдающегося ученого-биолога, создав документальный биографический роман. В новом романе Даниила Гранина «Мой лейтенант» запечатлена память самих участников трагических событий обороны Ленинграда, восстанавливающая многие неожиданные факты военных действий, увиденных глазами простого лейтенанта, бытовые детали фронтовой жизни; это взгляд на Великую Отечественную из траншей и окопов, это новое видение событий, неоднократно описанных историками.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-64405-6
ISBN 978-5-699-94451-4

© Гранин Д. А., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Содержание

АВТОБИОГРАФИЯ

7

МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ

21

ЗУБР

287

АВТОБИОГРАФИЯ

«На этот раз я родился в двадцатом веке...»

Так бы мне хотелось начать биографию героя новой книги. В этом есть что-то из личных ощущений. Когда-то ты уже жил, поэтому удивляешься тому, как ныне все сложилось. Сколько надо было случайностей в судьбах родителей, а потом и в моей собственной, чтобы добраться до нынешнего дня.

Тогда они очень любили друг друга, отец мой и мать. Она была совсем молоденькой, она пела, у нее был хороший голос, все детство прошло под ее песни. Много было романсов, городских романсов двадцатых годов, иногда у меня выплывают какие-то строки-куплеты: «И разошлись, как в море корабли...», «Мы только знакомы, как странно...». Не было у нас инструмента; учить ее тоже никто не учил, она просто пела, до последних лет. Стрекот швейной машинки и ее пение. Отец был старше ее на двадцать с лишним лет.

...1919 год, год моего рождения — в тех местах еще догорала Гражданская война, свирепствовали банды, вспыхивали мятежи. Они жили вдвоем в лесничествах где-то под Кингисеппом. Были снежные зимы, стрельба, пожары, разливы рек — первые воспоминания мешаются со слышанными от матери рассказами о тех годах. Детство — оно было лесное, позже — го-

родское; обе эти струи, не смешиваясь, долго текли и так и остались в душе раздельными существованиями. Лесное — это баня со снежным сугробом, куда прыгал распаренный отец с мужиками, зимние лесные дороги, широкие самодельные лыжи (а лыжи городские — узкие, на которых мы ходили по Неве до самого залива. Нева тогда замерзала ровно, и на ней далеко блестели великолепные лыжни).

Лучше всего помнятся горы пахучих желтых опилок вблизи пилорам, бревна, проходы лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на лежневых дорогах...

Родина писателя — детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны.

Матери-горожанке, моднице, молодой, красивой, не сиделось в деревне. Это я понимаю теперь, задним числом, разбираясь в их ночных шепотных спорах. А тогда все принималось как благо: и переезд в Ленинград, и городская школа, наезды отца с корзинами брусники, с лепешками, с деревенским топленым маслом. А все лето — у него в лесу, в леспромхозе. Как старшего ребенка, первого, сильно тянули меня каждый к себе. Это не была размолвка, а было разное понимание счастья. Потом все разрешилось другими обстоятельствами — отца сослали в Сибирь, куда-то под Бийск, а мы с тех пор стали ленинградцами. Мать работала портнихой. И дома прирабатывала тем же. Появлялись дамы — приходили выбирать фасон, примеривать. Мать любила и не любила эту работу — любила потому, что могла проявить свой вкус, художественную свою нату-

ру, не любила оттого, что жили мы бедно, сама одеться она не могла, молодость ее уходила на чужие наряды.

Школа моя пошла всерьез примерно с шестого класса. В школе на Моховой оставалось еще несколько преподавателей бывшего здесь до революции Тенишевского училища — одной из лучших русских гимназий. В кабинете физики мы пользовались приборами времен Сименса-Гальске на толстых эбонитовых панелях с массивными латунными контактами. Каждый урок был как представление. Преподавал профессор Знаменский, потом его ученица — Ксения Николаевна. Длинный преподавательский стол был как сцена, где разыгрывалась феерия с участием луча света, разложенного призмами, электростатических машин, разрядов, вакуумных насосов.

У учительницы литературы не было никаких аппаратов, ничего, кроме стихов и убежденности, что литература — главный для нас предмет. Ее звали Аида Львовна. Она организовала литературный кружок, и большая часть класса стала сочинять стихи. Один из лучших наших школьных поэтов стал известным геологом, другой — математиком, третий — специалистом по русскому языку. Никто не остался поэтом. Мне же стихи не давались. С тех пор у меня появилось благоговейное отношение к поэзии как к высшему искусству. В порядке самоутверждения я тоже написал в школьный журнал, написал о том, что поразило меня тогда, — о смерти С. М. Кирова: Таврический дворец, где стоял гроб, прощание, траурная процессия...

Несмотря на интерес мой к литературе и истории, на семейном совете было признано, что инженерная специальность более надежная. Я подчинился, поступил на электротехнический факультет и кончил По-

литехнический институт перед войной. Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. Наши профессора участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО. О них ходили легенды. Они были зачинатели отечественной электротехники. Были своенравны, чудаковаты, отдельные, каждый позволял себе быть личностью, иметь свой язык, сообщать свои взгляды, они спорили друг с другом, спорили с принятыми теориями, с пятилетним планом. Мы ездили на практику на станции Свири, Кавказа, на Днепрогэс. Работали на монтаже, на ремонте, дежурили на пультах.

До нас стало доходить, что у равнинных гидростанций есть противники. Тогда я возмущался косными взглядами этих ученых. Понадобились годы и годы, чтобы убедиться, какой урон приносят искусственные моря, сооружения, губительные для рыбы, климата, как нерасчетливо строят гидростанции. Было нелегко пойти против своей специальности, своих наставников.

На пятом курсе, в разгар дипломной работы, я вдруг стал писать историческую повесть о Ярославле Домбровском. Ни с того ни с сего. Писал не о том, что знал, чем занимался, а о том, чего не знал, не видел. Тут было и польское восстание 1863 года, и Парижская коммуна. Вместо технических своих книг я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с видами Парижа. О моем увлечении никто не знал. Писательства я стыдился. Написанное казалось безобразным, жалким, но остановиться я не мог.

После окончания института меня направили на Кировский завод, там я начал конструировать прибор для отыскания мест повреждения в кабелях. С Кировского

завода в июле 1941 года я ушел в народное ополчение, на войну. Не пускали. Надо было добиваться, хлопотать, чтобы сняли броню. Война прошла для меня, не отпуская ни на день, до конца 1944 года. В 1942 году на фронте я вступил в партию.

Воевал я на Ленинградском фронте, потом на Прибалтийском, воевал в пехоте, в танковых войсках и кончил войну командиром роты тяжелых танков в Восточной Пруссии. Рассказывать о своей войне я не умею, да и писать о ней долго не решался. Тяжелая она была, слишком много смерти было вокруг. Если помечтать, как на мишени, все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой заколдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура. Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную жизнь — бесценным подарком. На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть жестоким и еще многому другому, чего не нужно человеку. Но война учила и братству, и любви. Тот парень, каким я пошел на войну, после этих четырех лет казался мне мальчиком, с которым у меня осталось мало общего. Впрочем, и тот, который вернулся с войны, сегодня тоже мне бы не понравился. Так же, как и я ему.

Когда пишешь автобиографию, пишешь на самом деле не о себе, а о нескольких разных людях, среди них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может, и больше. Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-был на свете — такой он разный, несовместимый.

Мне повезло: первыми моими товарищами в Союзе писателей стали поэты-фронтовики — Анатолий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил Дудин, — они при-

няли меня в свое громкое, веселое содружество. А кроме того, был Дмитрий Остров, интересный прозаик, с которым я познакомился на фронте, в августе 1941 года, когда по дороге из штаба полка мы с ним заночевали на сеновале, а проснулись — кругом немцы... Диме Острову я принес, уже где-то в сорок восьмом году, свою первую законченную повесть, ту самую — о Ярославе Домбровском. Подозреваю, что он так и не прочел ее, жалея меня, но тем не менее убедительно доказал мне, что если уж я хочу писать, то надо писать про инженерную свою работу, про то, что я знаю, чем живу. Я и сам это ныне советую молодым, позабыв, какими унылыми мне показались подобные нравоучения.

То были прекрасные годы. Я не думал стать только писателем, литература была для меня всего лишь удовольствием, отдыхом, радостью, как прогулка в горы или поля. Кроме нее была работа, главная работа — в Ленэнерго, в кабельной сети, где надо было восстанавливать разрушенное в блокаду энергохозяйство города. Ремонтировать кабели, прокладывать новые, приводить в порядок подстанции, трансформаторное хозяйство. То и дело происходили аварии, не хватало энергии, не хватало мощностей. Меня поднимали с постели ночью — авария! Надо было откуда-то перекидывать свет, добывать энергию погасшим больницам, водопроводу, школам. Переключать, ремонтировать. Днем и ночью мы ремонтировали кабели, поврежденные в блокаду. Где-то треснула свинцовая оболочка, пробралась сырость — кабели тянули в местах бывших воронок. Обстрелы и бомбежки для нас как бы продолжались. В те годы — 1945–1948-й — мы, кабельщики, энергетики, чувствовали себя самыми нужными и влиятельными людьми в городе. По мере того как энерго-

хозяйство восстанавливалось, налаживалось, входило, как говорится, в русло, у меня таял интерес к эксплуатационной работе. Нормальный, безаварийный режим, которого мы добивались, вызывал удовлетворение и скуку. В это время в кабельной сети начались опыты по так называемым замкнутым сетям — проверялись расчеты новых типов электросетей. Я принял участие в эксперименте, и ожил давний мой интерес к электротехнике.

И вдруг я написал рассказ. Про аспирантов. Было это в конце 1948 года. Назывался он «Вариант второй». Я принес его в журнал «Звезда». Меня встретил там Юрий Павлович Герман, который ведал в журнале прозой. Его приветливость, простота и какая-то пленительная легкость отношения к литературе помогли мне тогда чрезвычайно. Рассказ был напечатан сразу, почти без поправок. Легкость Ю. П. Германа была свойством особым, редким в нашей литературной жизни. Заклучалось оно в том, что литература понималась им как дело веселое, счастливое, при самом чистом, даже святом отношении к нему. Мне повезло, потом уже ни у кого я не встречал такого празднично-озорного отношения, такого наслаждения, удовольствия от литературной работы.

Рассказ «Вариант второй» был опубликован в 1949 году, замечен критикой, расхвален, и я решил, что отныне так и пойдет, так и положено: я буду писать, меня сразу будут печатать, хвалить, славить и т. п. К счастью, следующая же повесть «Спор через океан», напечатанная в той же «Звезде», была жестоко раскритикована. Не за художественное несовершенство, что было бы справедливо, а за «преклонение перед Западом», которого в ней как раз и не было. Несправедли-

вость эта удивила, возмутила меня, но не обескуражила. Надо заметить, что инженерная моя работа создавала прекрасное чувство независимости. Кроме того, меня поддерживала честная взыскательность старших писателей — Веры Казимировны Кетлинской, Михаила Леонидовича Слонимского, Леонида Николаевича Рахманова. В Ленинграде в те годы я еще застал замечательную литературную среду — были живы Евгений Львович Шварц, Борис Михайлович Эйхенбаум, Ольга Федоровна Берггольц, Анна Андреевна Ахматова, Вера Федоровна Панова, Сергей Львович Цимбал, Александр Ильич Гитович, — то разнообразие талантов и личностей, которое так необходимо в молодости. Но, может, более всего помогал мне участливый интерес ко всему, что я делал, Таи Григорьевны Лишиной, ее басовитая беспощадность и абсолютный вкус... Она работала в Бюро пропаганды Союза писателей. Многие писатели обязаны ей. У нее в комнатке постоянно читались новые стихи, обсуждались рассказы, книги, журналы...

Вскоре я поступил в аспирантуру Политехнического института и одновременно засел за роман «Искатели». Вышла к тому времени многострадальная моя книга «Ярослав Домбровский». Заодно и в электротехнике тоже что-то завязалось и стало получаться. Напечатал несколько статей, от замкнутой сетки я перешел к проблемам электрической дуги, тут много было таинственного, интересного, это требовало времени и полной погруженности. По молодости, когда сил много, а времени еще больше, казалось, что можно совместить науку и литературу. И хотелось их совместить. Но не тут-то было. Каждая из них тянула к себе все с большей силой и ревностью. Каждая была прекрасна.

Пришел день, когда я обнаружил в своей душе опасную трещину. Но в том-то и штука, что душа — это не сердце, и разрыва души быть не может. Просто надо было выбирать. Либо — либо. Вышел роман «Искатели», он имел успех. Появились деньги, можно было перестать держаться за свою аспирантскую стипендию. Но я долго еще тянул, чего-то ждал, читал лекции, работал на полставки, никак не хотел отрываться от науки. Боялся, не верил в себя... В конце концов это, конечно, произошло. Нет, не уход в литературу, а уход из института. Впоследствии я иногда жалел, что сделал это слишком поздно, поздно стал писать всерьез, профессионально, но, бывало, жалел, что бросил науку. Я знаю, что «величайшая роскошь, которую только может себе позволить человек, — всегда поступать так, как ему хочется». Это слова Александра Бенуа, но лишь теперь я постигаю непростой их смысл.

Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение. Мне не надо было изучать материал, ездить в творческие командировки. Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы и формулы.

Решающим рубежом был для меня двадцатый съезд партии. Подействовал он разительно на меня, на все мое поколение фронтовиков, заставил по-иному увидеть и войну, и себя, и прошлое. По-иному — это значило увидеть ошибки войны, оценить мужество народа, солдат, себя самих. Избавиться от иллюзий, что всем мы обязаны лучшему Другу и Учителю...